

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## “ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВБАКУМА...”

Глава 32

“Как сказка на Гранатном...”

В июле 1931 года на заседании комиссии по перерегистрации Всероссийского Союза писателей Ключеву было предложено представить в Союз “развернутую критику своего творчества и общественного поведения”. Слишком были очевидны последствия дальнейшего разбирательства “развёрнутой самокритики”, и Ключев, приступивший к написанию соответствующего заявления, ни словом не обмолвился о написанной, так и не пристроенной в печать и читаемой на домашних чтениях “Погорельщине”. Он сосредоточился на том, о чём знала вся литературная общественность – на публикации “Деревни” и последующей травле поэмы. Поначалу в выражениях он не стеснялся:

“Если средиземные арфы живут в веках, если песни бедной занесённой снегом Норвегии на крыльях полярных чаек разносятся по всему миру, то почему же русский берестяной Сирина должен быть ошипан и казнён за свои многопёстрые колдовские свирели – только лишь потому, что серые, с невоспитанным для музыки слухом обмолвятся люди, второпях и опрометно рассуждая, что товарищ маузер сладкоречивее хоровода муз? Я принимаю и маузер, и пулемёт, если они служат славе Сирина – искусства...”

Уже сам по себе этот пассаж (да ещё и с прозрачным намёком на недавно покончившего с собой Маяковского – “Ваше слово, товарищ маузер!”), надо думать, привёл в бешенство членов комиссии. 16 января 1932 года состоялось очередное заседание, на котором отказали в перерегистрации бывшим 33 членам Союза писателей, подтвердили исключение из Союза ещё 10 литераторов, а специальная формулировка, касающаяся Ключева, отличалась особой жёсткостью:

**“ПОСТАНОВИЛИ:** исключить из Союза

Ключева Н. – как абсолютно чуждого по своим идейно-творческим установкам Советской литературе – писателя”.

20 января Ключев послал в Правление новый вариант своего “Заявления”. Собственно говоря, он не был особо новым – лишь слегка подредактированным. Но процитированные строки были убраны, а маузер (тут уж некстати вспомнится – “хрен редьки не слаще”!) был заменён на “финку”: “...справедливо ли будет взять на финку берестяного Сирина Скифии, единственная

вина которого — его многопёстрые колдовские свирели”. В результате, по смыслу сказанного, оклеветавшие Клюева смотрят уже не воинами с маузерами, а жиганами из подворотни с финками в руках. Читавшие этого смысла, судя по всему, не “просекли”, отсутствие “товарища маузера” и слёзное объяснение Клюева, что его погружение на дно Ситных рынков не “общественное поведение”, а “болезнь и нищета”, стало возможным поводом после долгих споров вычеркнуть имя Клюева из “чёрного списка” и поставить напротив него “плюс” красными чернилами.

А само “Заявление” читается и как умная защита, и как тончайший анализ самой поэмы, и как дивное стихотворение в прозе.

“... Последним моим стихотворением является поэма “Деревня”. Напечатана она в одном из виднейших журналов республики и, прошедшая сквозь чрезвычайно строгий разбор нескольких редакций, подала повод обвинить меня в реакционной проповеди и кулацких настроениях. Говорить об этом можно без конца, но я, признаваясь, что в данном произведении есть хорошо рассчитанная мною как художником туманность и преотдалённость образов, необходимых для порождения в читателе множества сопоставлений и предположений, чистосердечно заверяю, что поэма “Деревня”, не гремя победоносной медью, до последней глубины пронизана болью свирелей, рыдающих в русском красном ветре, в извечном вопле к солнцу наших нив и чернолесий. Свирели и жалкования “Деревни” сгущены мною сознательно и родились... из уверенности, что не только сплошное “ура” может убеждать врагов трудового народа в его правде и праве, но и признание им своих величайших жертв и язв неисчислимых, претерпеваемых за спасение мирового тела трудящегося человечества от власти жёлтого дьявола — капитала. Так доблестный воин не стыдится своих ран и пробоин на щите, — его орлиные очи сквозь крови и желчь видят

*На Дону вишнёвые хаты,  
По Сибири лодки из кедра.*

... Разумеется, вишнёвые хаты и кедровые лодки выдвигаются мною не как абсолютная ценность и тем более не как проклятие благороднейшим явлениям цивилизации (радио, учение об электронах и т. п.). Я двадцать пять лет в литературе, просвещённым и хорошо грамотным людям давно знаком мой облик как художника своих красок и в некотором роде туземной живописи. Это не бравое “так точно” царских молодцов, не их казарменные формы, а образами живущие во мне заветы Александрии, Корсуня, Киева, Новгорода, от внуков Велесовых до Андрея Рублёва, от Даниила Заточника до Посошкова, Фета, Бородина, Врубеля и меньшего в шатре Отца — Есенина... Я принимаю финку и пулемёт, если они служат Сирину-искусству, но, жестоко критикуя себя за устремление связать своё творчество с корнями мировой культуры, я тем не менее отдаю свои искреннейшие песни революции (конечно, не поступаясь своеобразием красок и слова, чтобы не дать врагу повода обвинить меня в холопстве)...”

Клюев верен себе. Тональность, образность весь пафос “Заявления” сродни тональности, образности, пафосу его вытегорских выступлений и статей. И никакой перемены в его искреннем приятии революции.

Той, русской революции, ради которой он вещал, проповедовал, рисковал жизнью.

А теперь... Теперь после очередной проработки лишь ускорял по возможности свой проезд в Москву.

— В Питере мне теперь ходу нету... Кулацкий поэт, что уж там...

Уже в 1931-м он постоянно навещает Москву, где жилищная проблема была одной из острейших. “В начале тридцатых годов, — вспоминал Евгений Габрилович, — почти все писатели (малые и великие) селились по коммунальным квартирам”. Клюев был бы рад любому жилью, в то же время стараясь по возможности обменять свою ленинградскую каморку на равноценную, относительно равноценную — тишина и покой, родная душа под боком были для него превыше всего остального.

Он селится по разным адресам, подолгу гостит у Надежды Христофоровой-Садомовой в её семье во 2-м Голутвинском переулке, подыскивает возможные варианты, договаривается с хозяевами — и обо всех своих хлопотах в самых нежных выражениях сообщает Анатолию.

“Дорогой друг, дитя моё светлое!

... После невыносимой трéпки, каждодневной езды из конца в конец, разговоров в холод и вьюгу, таскания по лестницам и всяким страшным фатерам — промыслом невидимым послана мне келья, в самой лучшей части города — дом двухэтаж(ный) с вековым садом в переулке, который весь из особняков и каждый в деревьях.

Очень тихо — низенько и тёпленько. Квартирка из двух комнаток белых и квадратных с невысоким потолком — посредине милая печь, кирпичная, потом кухонка с маленькой плитой и прекрасной раковиной. На сенях ещё квартира соседней — от моей отделяется кирпичной стеной, с сеней к соседям отдельные двери. Одним словом, по-моему чудесно — хорошая лестница и чудный дворик старомосковский. Всё вместе — такая (по-моему) милая берлога, такое гнездо гагарье, тёплое, уединённое и какое-то пушистое... Тут же и Тверской бульвар, и лучшие кварталы города, но самые тихие и опрятные. Итак, свершилось то, чего ты пожелал и на что дал мне мысль... Я уже прописан и поэтому обязан в десятидневный срок прописать тебя и представить записку с ленинградского домового жакта, что я снят с продовольствия, иначе ко мне могут прописать на площадь другое лицо, уплотнить меня, так как в Москве насчёт площади очень строго. Чужой человек с улицы в моей комнате будет ужасным событием. Чтобы этого не случилось — немедленно собирайся... Прилетай, моя ласточка! Прощебечь мне весну!”

Сорвалось и с этим “гнездом гагарьим”, стоившим столько сил... И поиски продолжались. И шли нежные, чуть игривые и грустные одновременно, письма.

“... Здесь очень трудно, даже чрезвычайно тяжело устроиться с комнатой. Можно на удачу в пригородах. Знакомые говорят, что есть красивые места и зимние тёплые дачи. На одну комнату в Москве или иногда в Ленинграде меняют две-три комнаты с балконом, огородом, деревья под окнами, но очень тяжело с дровами. Я поместила объявление, было одно предложение на комнату в десять метров — это не комната, а западня какая-то. И мне стало грустно... Твоя Соловушка”.

“Понемножку можно подобрать зимнюю дачу в две комнаты, недалеко от Москвы, так, напр(имер), в Серебряном Бору. Как быть? Соглашаться ли на комнату 10–15 метров или ждать?... Я очень страдаю и неустойчивым и одиночеством. Клычков каждый день пьяный, и поговорить с ним толком нельзя... Как только получишь письмо — отвечай. Каждый день дорог...”

“Лосёнок мой — золотое копытце.

Что ты редко мычишь, видно, хорошо чувствуешь себя без старого сохатого оленя? Не заблудился ли в пихтовой чаще ты, заплутал в буреломе, смотри, как бы не провалиться в берлогу — кругом медвежьи храпы, с опаской лыжи правь... Твой Старый Лось тяжело вздыхает — ото всех своих звериных печёнок — слышишь ли ты эти тяжкие мыки? Где ты, золотое копытце? В какой чаще ты плутаешь? Не попадись волку, а ещё злее — волчице!.. Всегда с тобой. В снах моих, в желаниях, во свете и во тьме. Истрадался я без голубого лосёнка...”

“Всё ещё, несмотря на усилия, не обменялся. Много было предложений, но все неподходящие...”

В январе 1932 года Бюро секции поэтов Ленинградского отделения ВССП всё же заочно выводит Клюева из состава секции. Николай, болезненный и нищий, чуть-чуть поправивший здоровье в Сочи, предпринимает отчаянные усилия, дабы вырваться, наконец, из опостылевшего Ленинграда, и в марте находит приемлемый вариант обмена. В начале апреля переезжает в Москву, поселяется в Гранатном переулке, в квартире 3-й дома № 12.

*Кому бы сказку рассказать,  
Как лось матёрый жил в подвале.  
Ведь прописным ославят вралей,  
Что есть в Москве тайга и гать,  
Где кедры осыпают шишки —  
Смолистые лешачьи пышки,  
Заря полощет рушники —  
В дремотной заводи строки,*

*Что есть стихи — лосиный мык,  
Гусиный перелётный крик,  
Чернильница — раздолье совам,  
Страницы с запахом ольховым,  
И всё, как сказка на Гранатном...*

Сказка, в конечном счёте, оказалась совсем не весёлой.

\* \* \*

Но поначалу многое складывалось довольно удачно.

Его навещают в новом жилище избранные, к общению с которыми он с самого начала пытался приохотить Яра, и горевал от того, что свои душевные и духовные силы его лосёнок сплошь и рядом тратит на случайных женщин (“волчиц”) и необязательных мужчин (“волков”). Растрчивает то, что мог бы употребить в дело, в созидание совершенного творения. И ничего общего не имеют жалобы Клюева в письмах к Анатолию на то, что связался тот с “химической завивкой” или ещё какой-нибудь “волчицей”, с пошлой мужской ревностью. Это, скорее, материнская забота, та, которую проявлял в своё время Николай к Есенину — а тот частенько и понимать ничего не хотел. Теперь лишь одна мысль — не повторил бы Анатолий есенинскую судьбу. Слишком многие пытались объяснить их отношения — Клюева и Яра — что называется, с низу. И в первую очередь — родные.

Особо отличался здесь отец Анатолия.

“Дорогой друг, — писал Николай. — 26 мая был чудный вечер в Москве, на дворе у нас цветут яблони, — два больших дуба в полном листу. В этот вечер — пришли ко мне люди из Художественного театра — с ними артистка Обухова — в сарафане, в кисейных рукавах, в бусах старинных — всё для меня. — Я же очень был напряжён — чтобы сбыть этим людям картины Власова. Никифор Павлович среди чужих слов людей и совершенно для него немислимых отношений слонялся как неприкаянный и всё собирался уходить — а я ему и говорю: “Прогуляйтесь или посидите под яблоней, там есть скамеечка”, — кажется, своему человеку можно было сказать так и сгладить неловкость — но к моему изумлению — Н(икифор) Павлович понял это по-своему — стал осыпать меня бранью. Назвал мерзавцем, льстивым царедворцем, и что такое общество, какое сидит за моим столом, для него не годится — потому что он честный человек. И что такие люди сделали из его сына, т. е. тебя, — подлеца и обманщика, а если у тебя и есть художественный талант, то этому ты обязан всецело и только отцу, а не такой сволочи, как гражданин Клюев, и т. п. ... Я нисколько не обижаюсь на Н. П. и... ещё большей тревогою и жаром за твой житейский путь охватило всё моё существо. Как тебе должно быть тяжело всякий день и каждый час дышать вредной для тебя как художника средой, серым тупым мурьём! Острой жалостью пронзило моё сердце! Люди же у меня были редкие и достойные, без которых нельзя поэту существовать... Больше всего папа не доволен на то, что я совершенно спокоен, как будто я так глуп, чтобы не предусмотреть человеческого непонимания и психической недоношенности. Я ещё пять лет назад говорил с тобой о том, что папы и мамы всегда недовольны, когда помимо их дети чем-то становятся — это род какой-то ревности и даже зависти... Твоё существо принадлежит не только своим по рождению, а и обществу, если не всему Миру, и тратит жар крови на такое серьёз и на анализ человеческого непонимания слишком дорогая цена. Ты теперь сам как Бог-Фта, — иди своей дорогой, куда влечёт тебя свободный ум!..”

Последняя фраза — контаминация из строк Пушкина (“Поэту”) и Михаила Кузмина, в одной из “Александрийских песен” которого отец посылает сына в большой мир:

*Теперь ты сам, как бог Фта,  
и ты идёшь в широкий мир,  
и ты идёшь без меня,  
но Изида всегда с тобою.*

Клюев знал, что Яру рано ещё идти в мир “без него”, но главное здесь – подтверждение любви старшего и родного, любви отеческой, чистую струю которой не могут замутиль никакие сплетни за спиной и ничьи пошлые подозрения.

“... Сочувствую тебе и соболезную каждой своей кровинкой, что замутили твою душу брехня и неизбежные сплетни прожжённых бульварных профессоров. Эти люди – отвратительные “тётки” (говорю на их языке) чуют давно – твою чистоту и аромат нашей дружбы и давно охотятся за тобой... Будь спокоен, неколебим, верен и горд своей чистотой. Много раз мы говорили с тобой об опасностях для нашей дружбы, особенно в разлуке, которая является самой удобной почвой для посева сорной травы – человеческой глупостью и ничтожеством!”

Клюев лишний раз напоминал, что “страшно встревожен, не столько за себя, сколько за твою душевную ангельскую, мой Пайя белокрылый”... “Прожжённые бульварные профессора” порядком портили кровь своими двусмысленными намёками на их взаимоотношения – и отзвук подобных разговорчиков прозвучал через много лет, когда о Клюеве взялся вспоминать... Михаил Бахтин.

Поначалу он говорил В. Дувакину о том, как Клюев “крашенный и напомаженный” ему не понравился. (Ни “крашеным”, ни “напомаженным” Клюев никогда не бывал.) Потом – “очень понравился”, когда читал “прекраснейшие” стихи. И всё равно – продолжал упоминать и про “фальшь”, и про “стилизацию”, и про “враньё” (дескать, читал великолепно по-немецки, а сам “изображал из себя человека, который даже не может узнать, на каком языке напечатана эта книга”). Клюев же, вероятно, увидев в молодом Бахтине “прожжённого профессора”, и не стремился быть с ним откровенным... Бахтин, правда, почувствовал Клюева настоящего, почувствовал на мгновение: “Он думал – что-то другое будет, но близкое больше вот к этой старой, исконной Руси, но не к тому интеллигентскому месиву, которым являлась современная жизнь для него”). Но это – много позже; а тогда, в конце 1920-х, в одной из публичных лекций он говорил о Клюеве, что “всё его московское, русское насквозь проникнуто заданиями символизма” (сказал бы он это самому Николаю!)... В беседе с Дувакиным оценил “замечательные сказки” поэта выше, чем его стихи. И, наконец, договорился до того, что якобы слышал от самого Клюева: “... ведь и господь наш Христос, ведь тоже был гомосексуалистом... Он был связан с апостолом Иоанном, своим любимым учеником, женственным человеком”... Невозможно даже представить, что Клюев с его истинно христианским мировоззрением и образом жизни мог не то что сказать, а и помыслить нечто подобное. Вот так, оказывается, Бахтин “понял” Клюева, приписав ему неслыханное кощунство, добавив при этом, непритворно ужасаясь, что так говорил “выдающий себя за крестьянина, христианина, православного”... Дурную шутку подчас играет с умнейшими людьми увлечение “телесным низом” в литературных разборах.

Но послушаем дальше самого Клюева.

“... Мягко и тепло дышит сердце, мысленно спускаюсь как бы по бесчисленным ступеням подземелья, в последний придел глубины его, смотрю – цело ли сокровище моё? Любовь моя, тяжёлая, как платина, дружба, груди чистейших сверкающих слёз... Всё нерушимо, ничто не потрачено и не расхищено. Это мой заповедник, мой зачатый клад. И в то же время не мой, а лишь тебе по какому-то таинственному избранию, единственному, – принадлежащий. Ты наследник души моей. Но страшно от вещей полноты, от осознания этого таинства. Моя молитва, чтобы ты хотя бы почувствовал кое-что из этой грозной, обручающей человека с вечностью, евхаристией!...”

Сможет ли Яр почувствовать это кое-что – вот страх и забота Клюева. Всего Анатолию не вынести, целиком груза клюевской души не принять – не выдержит душа молодая, уже устремившаяся в вихри света, уже обременившая себя случайными и необязательными знакомствами и связями, уже устремившаяся в поисках “истинной любви” и нашедшая её.

Клюев ни под каким видом не “ревнует” Яра к его избраннице, что стала потом (на краткий период) женой художника. Но слишком хорошо знает цену этой “любви” и отлично понимает – с кем его “лосёнок” связывает свою судьбу.

“... Прости меня, но я в своём уверен. И ничьих рецептов на этот случай слушать не хочу. Всю трепологию отвергаю. Как ты и предупреждал – я по-

лучил анонимное письмо от Воробьёвой (певица, избранница Яра-Кравченко. — С. К.). Это гнусный, шитый белыми нитками донос на нашу дружбу и на тебя в особенности — на твою совесть и благородство. Письмо написано на бело с черновика, и не без участия второго лица — это я остро чувствую. Ни малейшего волнения психического эфира в нём не наблюдается. Оно жалко и трафаретно-коварно, с предварительной лестью-подкупом мне как поэту, и с угрозой, что “законы революции и диалектики не на моей стороне”. Эта фраза наводит на размышление: в таком же звучании, смысле и скреплении я слышал её от следователя... Она уже стала классической и известной многим. Во всяком случае это не творчество влюблённой женщины...”

Всё более ощущая духовную и душевную перемену в Яре, слушая его упреки, явно наваянные посторонними людьми, в частности, той же Воробьёвой (ночная кукушка всех перекукует!), Клюев идёт до конца, выговаривая Анатолию в письмах самое главное, не чураясь и последних откровений.

“...Ни одна минута прожитая с тобой не была нетворческой. Это давало мне полноту жизни и высшее счастье! Создавался какой-то таинственный стиль времяпровождения и речи, искусства и обихода. Ясно чувствую, что так было накануне эпохи Возрождения, когда дружба венчала великих художников и зажигала над их челом пламенный язык гения. В нашей дружбе я всегда ощущаю, быть может, и маленькое, но драгоценное зёрнышко чего-то подлинного и великого. Только из таких зёрен сквозь дикость и тьму столетий пробивались ростки Новой Культуры. Вот что теперь для меня стало ясно. А это не мало, это не пустяки! Особенно для нас с тобой как художников. На этой вершине человеческого чувства, подобно облакам, задевающим двуглазый Арарат, небесное клубится над дольнем, земным. И этот закон неизбежен. Только теперь, в крестные дни мои, он, как никогда, становится для меня ясно ощутимым. Вот почему вредно и ошибочно говорить тебе, что ты живёшь во мне только как пол и что с полом уходит любовь и разрушается дружба. Неотразимым доказательством того, что ангельская сторона твоего существа всегда заслоняла пол, — являются мои стихи, пролитые к ногам твоим. Оглянись на них — много ли там пола? Не связаны ли все чувствования этих необычайных и никогда не повторяемых рун, — с тобой как с подснежником, чайкой или лучом, ставшими человеком-юношей.

А эти образы — есть сама чистота, сколько-нибудь доступная земному бренному слову. Только женское коварство как раз и черпает из мутных волн голого пола и свинской патологии противоположное и обратное понимание. Откуда оно у тебя? Конечно, от женского наития. Нельзя, сидя верхом на бабе, говорить о тайне, о том, что можно, и то приблизительно-символично, рассказать музыкой, поэзией, живописью или скульптурой. Только языком искусства — купленного подвигом, можно пояснить кое-что из тайны пола и ангела в дружбе. Так поступаю и я... Умозрение в красках, как и в подлинной поэзии, никогда не лжёт. Нужно только открыть глаза и очистить сердце, чтобы увидеть лучи тайны, величия дружбы и красоты...”

Стихи, о которых пишет Клюев, составили своеобразный цикл, точнее, лирическую поэму, которой он дал название “О чём шумят седые кедр” и посвятил её своему любимому другу. Читая её — понимаешь, насколько он был справедлив в своём увещевающем письме: чистота образов сродни здесь чистоте доличного письма древних икон, все признания в любви воплощены в природных символах: “Моя любовь — в полях капель, сорокалетняя медвежья, свежее пихт из Заонежья, пьянее, чем косматый шмель...” “Не пугайся листопада, он не вестник гробовой! У вдовца — глухого сада есть завидная услада — флейта-морок, луч лесной за ресницей сизых хвой!...” “Ты был, как росный ветерок в лесной пороше, я же — кедр, старинными рубцами щедр и памятью — дуплом ощерым, где прах годов и дружбы мера!...” “Без вёсен и цветов коснея, скатилась долу голова, — на языке плакун-трава, в глазницах воск да росный ладан. Греховным миром не разгадан (разрядка моя. — С. К.), я цепенел каменнокрыло меж поцелуем и могилой в разлуке с яблонною плотью...” “Я женился на тюльпане, всех пригожей и румяней пестик золотой...” “Пусть на груди моей лилея сплетётся с веткою сосновой, как символ юности и слова, и что берестяные глубины по саван лебеда голубят...” Этот мотив, напоенный тончайшим эфиром мотив любви к ангельскому существу, к “подснежнику, чайке или лучу, ставшему человеком-юношей” — без малейшего намёка на противоестественный грех — органически сплетается

с мотивом любимой — не “странной”, а полнокровной, от всей души и от всего сердца — к России — “матери матёрой”: “Россия, мать, ты ли? Ты ли? Босые ноги, плат по бровь, хрустальным лебедем из былей твоя слеза, ковыль-любовь плывут по вольной заводине...” “О берега России, сказки, без серой заячьей опаски, что василёк забудет стог за пылью будней и дорог!...” “Мы повстречаемся в Китае в тысячелетнюю весну, сердец измерить глубину цветистой сказкой о России, где жили нежити и вии, и зимний дед, рубя валежник, влюбился пчёлкою в подснежник!...” И поразительный — на фоне “Погорельщины”, “Каина”, “Песни о Великой Матери” — мотив приятия новой жизни, связанный с образом молодого героя, отстоявшего эту жизнь в боях Гражданской войны. Юный художник перевоплощается здесь в юного красноармейца — сродни тем, кого Клюев пламенными словами провожал в бой на вытегорской площади: “Товарищ, вскормленный звездой пятиочитой и пурпурной, Тебе моих напевов зурны, Лезгинка рифм под блеск кинжала!...” “Ты уходил под Перекоп с красногвардейской винтовкой и полудетской сноровкой в мои усы вплетал снега, реки полярной берега, с отчаяньем — медведем белым...” Благословление молодой жизни, напутствие от деда, что “отдал дедовским иконам поклон до печени земной и надломил утёсом шею...” — надломил в этой жизни, но останется в грядущей своими бессмертными заветами:

*Волчицей северного Рема  
Меня поэты назовут  
За глаз несytый изумруд,  
Что наглядеться не могли  
В твои зрачки, где конопли,  
Польнь и огневейный мак...*

Эту поэму Клюев попытается опубликовать — и этот шаг станет для него роковым. Удар в спину он получит от нового знакомого, с которым повстречается в Москве и который ошеломит и его самого, и всю литературную общность своим буйным поэтическим даром и не менее буйным, поистине неуправляемым поведением.

\* \* \*

Это был Павел Васильев, уже потрясший писательскую Москву своей великопной “Песнью о гибели казачьего войска”, уже отсидевший на Лубянке по “делу Сибирской бригады”, когда Леонида Мартынова, Сергея Маркова, Николая Анова и Евгения Забелина отправили в ссылку, а Павла и ещё одного “подельника” Льва Черноморцева выпустили через несколько месяцев, засчитав им в наказание отбытый срок. Павел по-казачьи, безоглядно, с абсолютной уверенностью право имеющего вломился — именно вломился — в литературную среду. Окружающие лишь ахали и качали головами. Кто-то восхищался, а кто-то затаивал нешуточную ненависть.

Варлам Шаламов вспоминал, как Васильев читал ему стихи Клюева о Ленине.

*Есть в Ленине керженский дух,  
Игуменский окрик в декретах,  
Как будто истоки разрух  
Он ищет в “Поморских ответах”.*

— Подтекст этих стихов пропал для нас. — говорил Павел. — Клюев — поэт сложный, серьёзный. Балагана в нём нет. Поморские ответы — это катехизис русского сектантства, знаменитое исповедание веры Андрея Денисова. Истоки хозяйственной разрухи были именно в сопротивлении всяким новшествам, исходящим от Москвы. Да и печатают Поморские ответы со строчной, не заглавной буквы.

Тот же Шаламов рисовал портрет Павла Васильева московского периода: “В Васильеве поражало одно обстоятельство. Это был высокий хрупкий человек с матово-жёлтой кожей, с тонкими, длинными музыкальными пальцами, ясными голубыми глазами”.

Во внешнем облике не было ничего от сибирского хлеботора, от потомственного плугаря. Гибкая фигура очень хорошо одетого человека, радующегося своей новой одежде, своему новому имени, – Гронский уже начал печатать Васильева везде, и любая слава казалась доступной Павлу Васильеву. Слава Есенина, слава Клюева. Скандалист или апостол – род славы ещё не был определён. Синие глаза Васильева, тонкие ресницы были неправдоподобно красивы, цепкие пальцы неправдоподобно длинны.

Иван Михайлович Гронский к тому времени сменил Вячеслава Полонского в кресле главного редактора “Нового мира” и “Красной нивы”, оставаясь при этом ответственным секретарём “Известий ВЦИК”. После апрельского постановления “О перестройке литературно-художественных организаций”, ознаменовавшего конец эпохи РАППа и примыкавших к нему литературных группировок, Гронский был поставлен во главе оргкомитета Союза советских писателей, который должен был заняться подготовкой первого общеписательского съезда. Перетряска литературной жизни имела определённые последствия. Было провозглашено “бережное” отношение к писателям, рапповская дубинка была заменена кнутом и пряником, и даже бывшие рапповцы, сменив тон, заговорили о возможной “перестройке” своих бывших врагов.

“Вглядитесь в новую поросль рабочих поэтов, – писал в “Литературной газете” “неистовый и непримиримый” Алексей Селивановский, – таких как Смеляков, Сидоров, Резчиков, Ручьёв, Беспощадный, как более “взрослый” Решетов – в первые проявления такого мощного дарования, как Васильев, в стихи Прокофьева...”

Пастернака подстерегают большие опасности. И не только его, а и Антокольского, и Мандельштама, в эти годы жившего особенно далеко от социалистической революции, и кое-кого ещё. И Пастернаку, и Антокольскому, и “старикам” – Мандельштаму и Андрею Белому – нужно помогать последовательной товарищеской критикой прежде всего...

Нам нужны социалистические мастера поэзии, знатоки своего творческого станка...

Есть у нас кулацкая поэзия. Есть поэзия хулиганствующей богемы. Есть поэзия мелкобуржуазной распущенности, упадочничества, презрения к труду. Есть поэзия, ворошащая мотивы великодержавного свинства или местного национализма. Мы не забыли о “констромольцах”. Нужно быть всё время настороже!”

Они действительно ничего не забыли. Теперь их, “неистовых ревнителей пролетарской чистоты”, привлекали к новой работе – “перестраивать” писателей, помогая им обходить все вышеперечисленные рифы.

Именно таким “перестраивателям” Клюев, хорошо помня, – такие же “незабывчивые” отнесли к нему в Ленинграде, адресовал своё новое творение – “Клеветникам искусства” с явной отсылкой к пушкинским “Клеветникам России”:

*Я гневаюсь на вас и горестно браню,  
Что десять лет певучему коню,  
Узда алмазная, из золота копыта,  
Попона же созвучьями расшита,  
Вы не дали и пригоршни овса  
И не пускали в луг, где пьяная роса  
Свежила б лебедю надломленные крылья!  
Ни волчья пасть, ни дыба, ни копылья  
Не знали пытки вероломней, –  
Пегасу русскому в каменоломне  
Нетопыри влетали в гриву  
И пили кровь, как суховеи ниву,  
Чтоб не цвела она золототканно  
Утехой брачную республике желанной!*

“Идите прочь, непосвящённые!” – явственно слышится голос из глубин тысячелетий. Непосвящённых не щадит Клюев в своём негодовании. Они для поэта – “гнусавые вороны”, которые гордое революционное знамя застыт “крылом нетопыря, крапивой полуслов, бурьяном междометий”... А их отно-



шение к русскому слову едино с их отношением к русской жизни... Ненависть и конъюнктурные потуги – вот вся их суть. И порода эта невыводима. Благополучно дожила до наших дней.

(Незабываемо, как в очередную “перестройку” то там, то сям стали появляться сочинения, прославлявшие тех самых “неистовых ревнителей” – от Селивановского до Авербаха – как “мужественных борцов со сталинизмом”, а в Библиотеке им. В. И. Ленина на выставке книг репрессированных писателей тоненькая, еле заметная книжечка Василия Наседкина заслонялась увесистыми томами бывшего литературного громилы Семёна Родова.)

*Чтобы гumno, где Пушкин и Кольцов  
С Есениным, в венке из васильков,  
Бодягой поросло, унылым плауном  
В разлуке с песногривым скакуном...*

Классические строки – как алмазные врата, вход в которые доступен лишь тем, кто готов преклониться перед бессмертным гением Пушкина и Кольцова (хоть и говорил когда-то в полемическом запале: “Вера Кольцова – не моя вера”, но сейчас и он оказывается союзником в промыслительной битве с нетопырями)... И о современных поэтах, по высочайшему счёту им ценных, облаиваемых на всех углах или глухо замалчиваемых, – Есенине, Ахматовой, Клычкове, Павле Васильеве – Клюев пишет как о тех, чьё слово не пропадёт и не сгинет, ибо оно в родстве с русской и мировой классикой, сродни природе, – так же живо, как и глубина народного духа, их породившая, и ждёт своего осмысления.

“И пал ли Клюев бородатый, как дуб, перунами сраженный... чек, и заплакал ли зори-очи до мёртвых костяных прорех на грай вороний – чёрный смех?... Ахматова – жасминный куст, обожженный асфальтом серым, тропу утратила ль к пещерам, где Данте шёл и воздух густ...” (Об этих строках Ахматова скажет потом: “Лучшее, что сказано о моих стихах” – и возьмёт их эпиграфом к третьей части “Поэмы без героя”, заменив, правда, слово “густ” на “пуст” по своим собственным соображениям)... И в этом же пантеоне бессмертных при жизни – Павел Васильев.

*Полыни сноп, степное юдо,  
Полуказак, полукентавр,  
В чьей песне бранный гром литавр,  
Багдадский шёлк и перлы грудой,  
Васильев — омуль с Иртыша.  
Он выбрал щуку и ерша  
Себе в друзья, — на песню право,  
Чтоб цвести в поэзии купавой, —  
Не с вами правнук Ермака!..*

Прямо скажем, несколько опрометчивой получилась последняя строчка.

\* \* \*

В эту “перестроечную” вакханалию Клюев, действительно, не вписался. Но именно на 1932 год, последний год его высочайшего творческого взлёта, пришлась последняя прижизненная публикация – в журнале “Земля советская”, главным редактором которого стал недавно старый друг – его и Есенина – член “Перевала” прозаик Иван Михайлович Касаткин.

Именно ему в журнал, на страницах которого весь год “великого перевала” (1929-й) выяснялось – кого же считать крестьянским писателем, и выяснялось, что ни Клюева, ни Клычкова “крестьянскими” считать нельзя, ибо не “крестьянские” они, а “кулацкие”, – именно сюда принёс Клюев цикл “Стихи из колхоза”, написанные в 1931 году, в год работы над “Песней о Великой Матери”.

Нет, невозможно уложить этого поэта в разлинеенную диаграмму. Невозможно дать однозначную характеристику ни одному из периодов его жизни.

Казалось бы, работа над великой поэмой, проникнутой полным отрицанием современности, полностью исключает хотя частичное приятие чего-либо нового... Ан, нет! "Стихи из колхоза" — это гимн колхозной жизни, поэтическое воплощение абсолютного счастья людей, воистину — рая земного.

*Бреду соломенной деревней; —  
Вон ком земли, седой и древний,  
Читает вести про Китай.  
"Здорово, дед!" — "Здорово, милый!.."  
Не одолеет и могила  
Золотогрудый каравай!  
Порхает в строчках попугай,  
И веет ветер Индостана, —  
То львиная целится рана —  
Твоя, мой серый Парагвай!*

Сытость и счастье. И как примета этого счастья — реалии любимого Востока, органически вплетённые в словесную ткань великого преображения земли. "Какая молодость и статность! Не уязвила бед превратность Пшенично-яростного льва!.. По сытым избам комсомол — малиной ландышевый дол цветёт зазвонисто и сладко..." "Там сегодня именины — небывалые отжины, океан калёных щей ждёт прилёта лебедей! И летят несметной силой от соломенного Нила, от ячменных островов стаи праздничных снопов!.."

Вот уж впору заговорить о конъюнктуре, о сдаче позиций, о попытке любыми средствами "перестроиться", да и опубликоваться, наконец... Тем паче что на происходящее в деревне Ключев глаза не закрывал. И не только вслух говорил с ненавистью о творящемся насилии, но и стихи рождал соответствующие:

*Вороном уселся, злобно сыт,  
На ракиту ветер подорожный,  
И мужик бездомный и безбожный  
В пустополе матом голосит:  
— Пропадай, моя телега, растакая бабка-мать!  
Где же ты, невеста — павья стать,  
В аравийских паволоках дева?  
Старикам отжинки да посевы,  
Глаз поречья и бород туман.  
Нет по избам девушек-Светлан, —  
Серый волк живой воды не сыщёт.  
Теремное светлое кладбище  
Загляделось в мёртвый океан...*

Это — 1929 год. А через 2 года — совсем иная песня. И писалась она на Саратовщине, где командовал Мендель Хатаевич.

Видел своими глазами Ключев только-только созданные колхозы, куда входили со своим хозяйством зажиточные мужики, видел, как преображалась жизнь, как распрямлялись спины не только у бедняков, но и у тех, кто всю жизнь жил единоличным небедным хозяйством, трудясь от зари до зари... Потом эти колхозы будут объявлены "лжеколхозами", расформированы — и начнётся дикая гонка в построении новых колхозов, со зверским "раскулачиванием" без смысла и разбора, с выселением новых семей, со "встречными планами", приведшими к страшному голоду 1933-го... Но как же хотелось поверить в возрождение мужика на земле, на которую этот мужик не будет больше смотреть, как на Дагона, пьющего его кровь, и благословить молодое поколение, которое будет, будет ведь жить, наконец, счастливо на земле, кровью юных бойцов омытой...

"Стихи из колхоза" были напечатаны в одном номере с васильевской поэмой "Лето", полной буйного цветения и поэтической мощи, поэмой, посвящённой Сергею Клычкову.

*Нам, как подарки, суждены  
И смерти круговые чаши,  
И первый проблеск седины,  
И первые морщины наши.  
Но посмотри на этот пруд —  
Здесь будет лён, а он в купавах.  
И яблони, когда цветут,  
Не думают о листьях ржавых.  
Я снег люблю за прямоту,  
За свежесть звёзд его падающих  
И ненавижу только ту  
Ночей гнилую теплоту,  
Что зреет в задремавших сучьях.  
Так стережёт и нас беда...  
Нет, лучше снег и тяжесть льда!*

“Я помню, — вспоминал Сергей Островой, — как мы с ним (с Павлом Васильевым. — С. К.) ходили к Ключеву. К Николаю Ключеву!.. И когда мы пришли к Ключеву, а тот ютился в полуподвале, в комнате на полу лежали огромные церковные книги в деревянных и металлических окладах. И первое, что сказал Ключев, обняв Васильева: “Паша, ты ведь наш сокол!” Это сказал Ключев, который, уж, слава богу, на своём веку повидал многое и многих..”

У Клычкова, который принимал в гостях Ключева, Мандельштама, тянувшегося в этот свой “московский” период к “новокрестьянам”, берущего у них мотивы, посвящавшего Клычкову стихи, Васильев читал “Песнь о гибели казачьего войска” и лирические стихи. Как вспоминал Липкин, Мандельштам отреагировал сразу: “Слова у него растут из почвы, с ней смешиваются, почвой становятся”. А Ключев после паузы подошёл, обнял Васильева, крепко поцеловал: “После Есенина первая моя радость, как у Блока, — нечаянная”.

... “Перестроечное” соревнование приобретало характер массового психоза. Каждый стремился “перестроить” хотя бы одного писателя и объявить это лично своей заслугой. Под руками у Гронского был особенно благодатный материал. Петр Орешин, уже настроившийся на мысль, что “плетью обуха не перешибешь”, прибежал однажды к нему и сообщил, что Ключев “обрабатывает Пашу”. Возможно, Орешин действительно стремился по-своему уберечь Павла, ибо в глазах высшей литературной бюрократии общение с Ключевым приравнивалось к общению с прокаженным. Гронский ненавидел Ключева нешуточной ненавистью. Он предложил Павлу поселиться в своей квартире, познакомил его с сестрой своей жены Еленой и стал “воспитывать”.

Положение Павла, по-хорошему говоря, в тогдашней литературной жизни было если не “хуже губернского”, то близко к этому. “Огонек”, “Литературная газета” и “Земля советская” печатали его стихи, и в то же время была запрещена публикация уже набранной книги стихотворений “Путь на Семиге”, а “Песню о гибели казачьего войска” Гронский после совета В. В. Куйбышева изъясил из почти всего отпечатанного тиража “Нового мира”, причем уже через много лет объяснил свое отступничество следующим образом: “Появление в журнале поэмы Васильева одновременно с рассылкой протоколов его допросов могло привести к возможным кривотолкам. Учитывая это, а также то, что противники Оргкомитета ССП из лагеря “воинствующих” рапповцев могли представить публикацию поэмы (в сущности, безобидное дело) как некое демонстративное выступление редакции “Нового мира” против советских следственных органов, я, посоветовавшись с В. В. Куйбышевым и А. И. Стецким, решил изъять “Песню о гибели казачьего войска” из номера”. Показательно это опасение перед не сложившими оружия рапповцами и И. Гронского, и В. Куйбышева, и А. Стецкого.

9 апреля 1933 года начальник Главлита Б. Волин (Фрадкин), обретший зловещую известность еще в 20-е годы, когда он работал в журнале “На посту”, написал большую докладную записку в Политбюро с отчетом о работе, в которой, в частности, сообщил, что “и сейчас, конечно, бывают прорывы. (В “Федерации”, например, выпущен в Октябрьской серии Асеев с большой троцкистской поэмой “Лирическое отступление”, в “Новом мире” была в 11 книжке напечатана “Поэма о гибели казачьего войска” Павла Васильева,

в ГИХЛе готовился томик того же П. Васильева, а также пришлось перепечатывать ряд страниц в “Сестрах” Вересаева (о коллективизации), в Ленин(градском) Тов(ариществе) Писателей вышли “Дневники” М. Шагинян с политически одиозными записями, в Моск(овском) Тов(ариществе) Пис(ателей) задержан готовый к печати роман “Личное и общественное” Парфенова и т. д.)... На каждый прорыв Главлит отвечает репрессиями по отношению к цензорам, передачей дела об них, как и об редакторах и авторах (партийцах), в контрольные органы и в ячейки и рядом производственных со-вещаний, инструктирующих и мобилизующих наших работников”.

Как было хорошо укрыться от всего этого в клюевской “келье”, почувствовать ласковое прикосновение руки “дедушки”, внять его мудрым речам, почитать свои новые стихи и послушать самого Клюева, приобщающего юношу к сокровенным тайнам поэтического слова:

*Пусть дубняком стальной посев  
Взойдет на милом пепелище —  
Лопарь забрел по голенище  
В цимбалы, в лукоморья скрипки  
Проселком от колдуньи-зыбки  
Через горенку и дебри-няни,  
Где заплутали спицы-лани,  
Бодаясь с нитью ярче сказки!  
Уже Есенина побаски  
Измерены, как синь Оки,  
Чья глубина по каблук...*

Это стихотворение Клюев посвятил Васильеву, как бы передавая ему волшебный поэтический посох, который, как думал старый поэт, не удержал в ладонях Есенин и который уже не под силу удержать ему самому, готовому погрузиться до поры до времени со своим песенным миром под воды времени, как Китеж-град в волны Светлояра.

*Но кто там в росомашьей чуйке,  
В закатном лисьем малахае,  
Ковром зари, монистом бая,  
Прикрыл кудрявого внучонка?  
Иртыш пелегает тигренка —  
Васильева в полынном шелке...  
Ах, чур меня! Вода по холки!  
Уже о печень плещет сом —  
Скирда кувшинок — песен том! —  
Далече — самоцветны глуби...*

Да, он отдавал должное Васильеву как поэту, но все больше и больше замечал за ним как за человеком сознательную неразборчивость в средствах достижения литературной славы и тем паче в знакомствах.

А Гронский активно проводил “операцию” по оттягиванию Васильева от Клюева и приближению к Демьяну Бедному.

И вот 3 апреля 1933 года в редакции “Нового мира” состоялся вечер, посвященный творчеству Павла Васильева, с последующим обсуждением.

“В самом начале тридцатых годов Павел Васильев, — писал Гронский, — вызывал обоснованную тревогу за судьбу его огромного дарования. Васильев продолжал наведываться к Клюеву, что не могло не настораживать.

Васильева надо было “отстоять”. Поэтому, когда в апреле 1933 года “Новый мир” устроил творческий вечер Павла, я обрушился на поэта с резкой критикой... Я неодобрительно отозвался о новом произведении Васильева, но сделал это скорее для того, чтобы раскрыть всю полноту ответственности художника за свое творение. Целью моего выступления отнюдь не было “растоптать” или “облить” грязью молодого поэта. Свидетельство тому — “Соляной бунт” начал печататься уже в следующем, майском номере “Нового мира”, ответственным редактором которого я работал”.

Гронский многого не договорил. Чтение стенограммы этого обсуждения показывает, как он “отстаивал” Васильева.

Прежде всего: обсуждение состоялось в апреле 1933 года, а напечатаны его материалы были лишь в № 6 журнала за 1934 год. Причем выступление Бориса Пастернака в опубликованную часть стенограммы не вошло.

Читая стенограмму, видишь, какая солидная артподготовка была проведена перед “спасительной” речью самого Гронского. Вот несколько выдержек из предыдущих выступлений:

“К. Зелинский. — У нас может явиться вопрос: откуда явился Васильев? Почему на 16-м году пролетарской революции, после ликвидации кулачества как класса, появляется такой поэт? Значит, не вся еще молодежь наша? Я думаю, что это не случайно. Значит, пережитки капитализма еще налицо, еще сильны. Но с другой стороны, в нашей стране для такой поэзии нет будущего. Что касается самого Васильева, то в последней вещи, которую он сегодня прочитал, и отчасти в его “Соляном бунте” все-таки есть здоровое начало, на которое он может сам же опереться и которое позволит в дальнейшем ему развиться в настоящего советского поэта”.

“Е. Усиевич. — Для того, чтобы Васильев мог сам перестроиться, для того, чтобы его творчество не давало права наиболее реакционным элементам в нашей литературе и уповать, что он поднимет их поникшее знамя, для этого, прежде всего, Васильев должен понять не только то, что наша критика, наша общественность считает его чужаком, он должен осознать, чью идеологию выражает он. До сих пор мы не имели у Васильева ни сознания этого, ни, тем более, попытки убрать мосты, которые его связывали с этими людьми. Но я думаю, что наглядность и неопровержимость успехов социалистического строительства, та работа, которая проводилась с Васильевым нашей критикой, а главным образом, те чрезвычайно обнаженные формы, которые приняла классовая борьба, те формы, в которых выступает сейчас классовый враг, — все это кое-чему Васильева научило”.

Вот когда настал черед Гронского! Когда встал вопрос — “перестроился” Васильев или нет и “есть ли за ним будущее” в зависимости от его “перестройки”?.. Что означали эти слова в 1933 году, уже тогда многие не могли не понимать.

“И. Гронский. — Если народ не знает поэта, если народ не поет его песен, — грош цена такому поэту... Вот если с этой точки зрения мы подойдем к творчеству всей группы так называемых “крестьянских” поэтов, то мы должны сказать, что эта группа совершенно напрасно, без всяких на то оснований, приклеивает к себе крестьянскую вывеску. Это не крестьянская, а кулацкая поэзия... Возьмите творчество Ключева, Клычкова и Павла Васильева за последние годы. Что из себя представляет это творчество? Каким социальным силам оно служило? Оно служило силам контрреволюции... Это резко, это грубо. Но это правда... Можно ли переделать этих “крестьянских” поэтов? Стариков, мне думается, трудно будет переделать... Если бы они хотели служить прогрессу, то есть пролетарской революции, они давно бы это сделали... Да и трудно агитировать этих людей. Им можно лишь сказать: если хочешь сидеть в прошлом, сиди, сиди и жди того дня, когда твой народ забудет о тебе как о художнике. И он забудет. Это единственное, что можно им сказать... Я думаю, что дело заключается в том, что в воспитании Васильева мы проявили некоторое благодушие, мы над ним не работали, а кое-кто другой над ним работал. И, представленный этим людям, Васильев развился не в сторону революции, а в сторону контрреволюции... Васильев должен порвать с той группой, у которой он находится в плену... Васильев как будто делает сейчас шаг в сторону революции, но делает этот шаг очень робко, очень осторожно, очень неуверенно. Так, Васильев, к революции ты никогда не придешь. К революции надо идти решительно, смело, по-мужички... Враг нападает — дай ему десять сдач... Васильеву надо прямо сказать, что он сейчас пришел на некую грань: или он совершит прыжок в сторону революции, или он погибнет как художник... Если хочешь быть поэтом своего народа, поэтом рабочих и крестьян, порви всякие связи с прошлым и шагай в будущее без всякой оглядки. Поставь свое искусство на службу этому будущему, против всякого рабства, против всей той мрази, которая борется с нами из-за угла...”

Напротив Павла Васильева, выслушавшего все это, сидел как раз “враг” и “мразь, борющаяся из-за угла” — Сергей Антонович Клычков. И вот какой диалог состоялся после всех предыдущих погромных речей между двумя дру-

зьями: уязвленный и обиженный Павел Васильев сперва попытался защититься, а потом обрушился на своего друга с нешуточными упреками.

Дело в том, что, помимо всего сказанного, масла в огонь расчетливо подлил И. Нусинов: “Совершенно верно, что Клычков, как зрелый мастер, никому больше не подражает. Он – самостоятельный писатель. Но когда Васильев начал писать, он, несомненно, подражал Клычкову. Сейчас задача в том, чтобы освободиться от влияния Клычкова... Действительно, когда сейчас приходит поэт, который в годы революции еще только начал грамоте учиться, и говорит языком Клюева и повторяет этапы Есенина, – то это чистейший анахронизм. Все это упоение “арханых”, “избяным”, “бревенчатым” старо, скучно, запоздало и никого не трогает...”

Васильев бросился на защиту своей чести и своего литературного имени, не щадя ближайшего соратника.

“П. Васильев. – Здесь говорили, что Клычков особенно на меня влиял, что я был у Клычкова на поводу, что я овечка. Достаточно сказать, что окраска моего творчества очень отличается от клычковской, а тем более от клюевской. Я сам хорош гусь в этом отношении. Вообще, если говорить о крестьянских поэтах, – а таковые все-таки существовали и существуют, – то надо сказать, что, хотя Клычков и Клюев на меня не влияли, у нас во многих отношениях родная кровь. И все мы ребята такого сорта, на которых повлиять очень трудно. Это блестяще доказал Клычков, особенно Клюев. Тут – советское строительство, а с Клычкова как с гуся вода. Должен признаться, что советское строительство и на меня очень мало влияло... Разве Маяковский не пришел к революции, и разве Клюев не остался до сих пор ярым врагом революции?... Теперь выступать против революции и не выступать активно с революцией – это значит активно работать с фашистами, кулаками, о которых сейчас говорили. У нас с Сергеем в последнее время был разговор, что нужно решительно выбирать – за или против. Я считаю, что у Клычкова только два пути: или к Клюеву, или в революцию. Сейчас Сергей выглядит бледным потому, что он боится, что его не поймут, его побьют и т. д. Но, к сожалению, должен сказать, что я желаю такого избияния камнями... Клычков должен сказать, что он на самом деле служил по существу делу контрреволюции, потому что для художника молчать и не выступать с революцией – значит выступать против революции.

Клычков. – Это политиканство.

Васильев. – Ты имеешь право назвать меня политиканом, но твои слова ни в чем никого не убедят”.

Тяжело читать этот диалог. И бессмысленно впадать в запоздалое сожаление и произносить запоздалые упреки. Слишком туго оказался закручен узел, и молодой, горячий поэт, никогда не вдававшийся в тонкости тех или иных нюансов очередного политического момента, оказался неспособным его распутать. Прозрение, понимание того, что произошло, наступило позднее.

*Мы верили ветрам-скитальцам,  
Мы песни холили в груди.  
Пересчитай нас всех по пальцам,  
Но пальца в рот нам не клади.*

Эту эпиграмму на Клюева и К<sup>0</sup> Васильев написал примерно в то же время – незадолго до своего отречения. Шутка обернулась жуткой реальностью. Их пересчитали. Определили возможность “перестройки” каждого. И поставили каждому индивидуальное клеймо.

Думаю, что не один раз Павел потом вспоминал свои слова, сказанные в редакции “Нового мира”, особенно когда увидел их опубликованными на страницах журнала в то время, когда Николай Клюев уже начал свое “хождение по мукам” в Колпашеве. Не мог Васильев в глубине души не понимать разницы в отношении к нему Клюева и Гронского, не мог не оценить ситуации, в которой оказался. Думаю, многие его позднейшие “срывы” были следствием всё усиливающегося чувства своей вины и порожденным ею ощущением душевного разлада. И не мог он не вспомнить, обдумывая горькие строки о Беломорканале (“Хлещет в шлюзы Балтийское море и не хочет сквозь шлюзы идти...”), трагических строк своего учителя, которые тот тайно читал своему “тигренку”:

*То Беломорский смерть-канал,  
Его Акимушка копал,  
С Ветлуги Пров да тетка Фекла,  
Белкороссия промокла  
Под красным ливнем до костей...*

И нельзя не сказать, что происшедшее с Павлом Васильевым, да и вообще вся литературная политика 30-х годов, были, если угодно, расписаны и рассчитаны десятилетием раньше и получили, пожалуй, наиболее совершенное обоснование в статье Ларисы Рейснер, опубликованной в 1926 году.

“Возможна ли у нас в СССР “справедливая” критика? Конечно, нет! Булгаков написал талантливейшую книгу, но скверную и вредную. Его книга – книга врага, и она не будет признана! Устрялов – замечательнейший публицист, и Устрялова бьют и будут бить, потому что он враг, потому и опасный, что необыкновенно умный, талантливый. Со всеми ими наша критика ведет грандиозную войну, то есть самую беспощадную из всех войн. Когда не хватает пушек, то бьют дубинками.

Но как случилось, что под удары – и какие! – попадают не Устряловы и Булгаковы, а Лидия Сейфуллина, Бабель, Вс. Иванов – самые близкие нам писатели – единственные, выдвинутые не коммунистической, но, во всяком случае, советской – революционной Россией”.

Лариса Рейснер не дожила до 30-х годов, ставших роковыми и для людей ее круга. Иначе она получила бы прекрасную возможность усвоить простую истину: сначала бьют “Устряловых и Булгаковых”, потом “Бабелей и Вс. Ивановых”, потому что они для кого-то “враги”, а потом полчища “врагов” разрастаются и начинается бойня, в которой вчерашние палачи уже не имеют шансов спасти свои головы. В дубинках уже нет надобности – отменно налаживается пушечное производство. И удержаться в этой обстановке практически невозможно никому.

Интересно, что “Литературная газета” напечатала оперативный отклик на васильевский “творческий вечер” с характерным уведомлением:

“Почва, из которой Васильев черпал свое творчество, быт кулацкого семиреченского казачества, придавала его творчеству настолько реакционную окраску, что дальнейший путь этого одаренного поэта внушал очень серьезные опасения”.

Далее сообщается, что Васильев читал новую поэму “Соляной бунт” и “отрывок из стихотворения “Враги народа”, направленного против разоблаченных недавно вредительских организаций”. Что это за стихотворение – до сих пор неизвестно.

Известно другое: помимо принимавших участие в обсуждении литераторов, чьи выступления напечатал “Новый мир”, в этом действе были заняты такие лица, как Вера Инбер, Григорий Корабельников, Иван Макарьев и “перестраивающийся” Борис Пастернак – единственный, кто пытался говорить о Васильеве в уважительном тоне.

“Б. Пастернак, говоря об огромном таланте Васильева, выразил уверенность, что крупный поэт не может не пойти в ногу с эпохой...”

С. Клычков, не упоминая о творчестве Васильева, безуспешно пытался опровергнуть объективную оценку своего творчества рядом выпадов против марксистской критики. Остальным ораторам пришлось, отмечая отход Васильева от группы Ключева-Клычкова, останавливаться на реакционной роли этих последних. “Взвесьте серьезно то положение, в котором вы оказались, – сказал т. Макарьев. – Сила на нашей стороне, но мы говорим с вами серьезно, а вы все не хотите говорить серьезно. Что ж, Васильев от вас ушел, а вы оставайтесь”.

Клычков не держал на Павла зла. Совершенно по-другому отнесся к перемене в “тигрёнке” Клюев, для которого эта измена стала ударом в самое сердце. В письмах к юному другу последних лет своей жизни – живописцу Анатолию Кравченко – он, попутно вспоминая Есенина, предостерегал Анатолия от общения с Павлом.

“Толечка, ласточка моя апрельская, всем опытом, любовью святыней, заклинаю тебя – не отравляйся личинами, не принимай за подлинность – призраков Быстряковых и его патронов, Васильевых и старых, как ад, Эльз Каминских – с непреременной бутылкой, с клеветами и бесчисленными преда-

тельствами! Все подобные исчезают, как смрадный дым. Пройдешь мимо и не найдешь даже того места, где они были... Вот тебе еще пример из книги жизни: ты жадно смотрел на Васильева, на его поганое дорогое пальто и костюмы — обольщался им, но эта пустая гремящая бочка лопнула при первом ударе. Случилось это так: Оргкомитет во главе с Гронским заявили, что книги Васильева — сплошь плагиат — по Клюеву и Есенину — нашли множество подложных мест, мою Гусыню в его поэме и т. д. и т. д. Немедленно вышел приказ: рассыпать печатный набор книг Васильева, прекратить платежи и договоры объявить несостоятельными, выгнать его из квартиры и т. д. Васильев скрылся из Москвы. Все его приятели лают его, как могут, а те дома, где он был, оправдываются тем, что они и не слышали, и не знакомы с Васильевым и т. п. и т. п.”

В своей горечи Клюев доходит здесь до явных несправедливостей и прямого искажения фактов. Никто Васильева в плагиате не уличал, хотя его колыбельная про гусыню из “Песни о гибели казачьего войска” явно переключается с клюевской “белой гусыней” из “Плача о Сергее Есенине”, так же, как написанная в начале 1933 года “Тройка” — яростный ответ на плач о гибели русской тройки в “Погорельщине” (“Загигбла тройка удалая, с уздой татарская шлея, и бубенцы — дары Валдая, дуга моздокская лихая, — утеха светлая твоя!.. Разбиты писанные сани, издох ретивый коренник...”):

*И коренник, как баня, дышит,  
Щекою к поводам припав,  
Он ухом водит, будто слышит,  
Как рядом в горне бьют хозяев...*

.....  
*В его глазах костры косые,  
В нем зверья стать и зверья прыть,  
К такому можно пол-России  
Тачанкой гиблой прицепить!  
И пристяжные! Отступая,  
Одна стоит на месте вскачь,  
Другая, рыжая и злая,  
Вся в красный согнута калач.  
Одна — из меченых и ражих,  
Другая — краденая знать —  
Татарская княжна да блядь, —  
Кто выдумал хмельных лошажьих  
Разгульных девок запрягать?  
Ресниц декабрьское сиянье  
И бабий запах пьяных кож,  
Ведро серебряного ржанья —  
Подставишь к мордам — наберешь.*

.....  
*Рванулись. И — деревня сбита,  
Пристяжка мечет, а вожак,  
Вонзая в быстроту копыта,  
Полмира тащит на вожжах!*

Давно ли Клюев сам читал и давал читать Васильеву свои неопубликованные и не имевшие никакого шанса на публикацию стихи? Теперь он обвиняет в этом Анатолия Кравченко. “При каких милых отношениях мои стихи попали к Васильеву? Чем он тебя вовлек в это преступление? Обещал протекцию и т. п.? Всякий бы и каждый на твоём месте давно бы рассказал все по порядку. Ответь, что тебе мешает?”

Проходит еще два дня, и Клюев пишет тому же Анатолию новое письмо: “Я верю, художник мой, что у тебя вкус прекрасный, но нет чутья на людей: доказательство: панибратство с цеховым заплечным мастером с Малой Полянки — он вновь был у меня — опухший от пьянства и мировых масштабов, и сердце мое холодело за твой вкус на людей и знакомства...”

Обида обидой, а не мог забыть Клюев своего недолговечного друга и наперсника в поэзии. Узнав о новом аресте Павла, он пишет Горбачевой уже из



томской ссылки: “Как Москва? Как писатели и поэты – как они, горемики миленькие, поживают. Жалко сердечно Павла Васильева, хоть и виноват он передо мною черной виной”. “Слышал я, что Павел Васильев уехал из Москвы. Это меня очень и весьма удивило. Быть может, Вы знаете, или слышали подробности. Очень любопытно”. “Очень меня волнует судьба Васильева, не знаете ли Вы его адреса?” “Что слышно о П. Васильеве? Где он?” Такие вопросы мелькают почти в каждом из последних клюевских писем. И, наконец, последнее упоминание в письме из Томска от 22 декабря 1936 года: “Объявился ли Васильев, или пишет из тюрьмы? Что Литгазеты назвали его бездарным – это ничего не доказывает. Поэт такой яркости, обладатель чудесных арсеналов с кладенцами может оказаться бездарным совершенно по другим причинам (так сказал один мудрый китаец). Мне бы очень хотелось прочесть бездарные стихи Павла. Хотя он и много потрудился, чтобы я умолк навсегда. Передайте ему, что я написал четыре поэмы. В одной из них воспет и он, не как негодяй, Иуда и убийца, а как хризопрас самоцветный”. Ни одна из этих поэм не сохранилась.

Необходимый штрих к стихотворению “Клеветникам искусства” и упоминанию имени Васильева в клюевских письмах: в заключительной редакции стихотворения одна из строк, обращенная к Павлу, приняла несколько иной вид: “Полыни сноп, степной иуда...” Все остальное сохранилось в неизменном виде.

...Вспоминая “инсценировку”, как точно определила Варвара Горбачева, отречения Васильева от Клычкова и окидывая взглядом всю гамму его отношений с Клюевым в совершенно невыносимой литературно-политической атмосфере, волей-неволей согласишься со словами молодого Льва Гумилева, с которым, кстати, Павел познакомился в доме у того же Клычкова: “Знаете, какая разница между евреями и русскими? Евреи делят всех людей на своих и чужих. Чужим они горло перегрызут, а для своих готовы на все... Русские тоже делят людей на своих и чужих. Чужим они тоже горло перегрызут, а про попавшего в беду русского подумают: “Он, конечно, свой брат, а все равно – наплевать!”

*(Продолжение следует)*